

НАДЕЖДА НЕЛИДОВА



ЖЕСТОКИЕ
НРАВЫ

КОГДА ЖЕ
КОНЧАТСЯ
МОРОЗЫ

Морозы убили всё живое. Сковали поля и реки, человеческие отношения. Запустели, заледенели, спят летаргическим сном сердца и души. «Крепитесь, люди. Скоро лето». Разбудит ли сонное, мёртвое царство долгожданная сорокаградусная жара?

Надежда Нелидова

КОГДА ЖЕ КОНЧАТСЯ МОРОЗЫ

САМАЯ ГЛАВНАЯ ВРАЖИНА

— Как, Шурка? — старик тронул за плечо женщину, сидящую в соломе. — Внуши себе: ты баба, с тебя спросу нету.

— Отстань, дяденька Иван! Всё сделаю...

— Ты вот что, девка. Коли убежать наострилась... Ты, когда убегать-то будешь, знай: встретятся наши стёжки-дорожки, — он поднёс к её глазам тяжёлый, в старческой шерсти, кулак.

В куче спящих людей зашевелился парень. Поднял всклокоченную голову:

— Чего шушукаетесь? Вали сюда, Сашурка, всё одно завтра смерть...

Подождал и, вздохнув, снова зарылся в солому.

— Ну, с богом! Она нас ещё спасёт, выручит Александра наша, — старик вёл Сашу, как больную, к дверке. Негромко, аккуратно стукнул.

— Товарищ... Ты к дверке придвинься... Я про бабу, бабочка тут...

— «Придвинься», — передразнили снаружи. — Придвинешься, а ты чем по башке. Товарищ нашёлся.

— Баба шибко мучается. Ни сном ни духом...
Прибилась вчера в лесу.

— Завтра разберут, прибилась или нет.

— Женское у неё. Мается, стонет, — дрожащим от злобы, унижительным голосом уговаривал старик. — Ты её в лопушках постереги — и обратно. Стеснительная баба оказалась.

Саша заученно охнула — старик больно ткнул её локтём в бок. За дверью молчали. Потом сказали зло: — Возись тут... Старик, от двери отойди, бабу вытолкни. Да не копайся, чёрт!

Старик крестил спину Саши:

— Дай бог, дай бог. Ну, Шурка, на тебя надежда. Помни — одной верёвочкой... — и — громче: — Спасибо, добрый человек. Бабочка больно мучилась.

На улице сыпал мелкий осенний дождик. Под туфлями хлюпнула жидкая грязь. Широкие еловые ветви тяжело прогнулись под скопившейся влагой. Саша, как учил старик, застонала. Положила руки на живот, привалилась к чёрной от дождя бревенчатой стене сарая. Охранник молча смотрел на неё.

«Господи, мальчик совсем... Лет пятнадцать. Голос нарочно грубым делал. Что делается».

— Чего уставилась? Иди давай.

Саша, распластавшись по стене, отдыхала под

взглядом детских серо-красчатых глаз. Глаза изо всех сил хотели казаться равнодушными, а смотрели с жалостью и стыдом. Последнее время она привыкла жить под мужскими взглядами: тяжёлыми, жадными, злыми. Под ними она сжималась в комок.

— Спасибо тебе, — шепнула Саша. Сказала и подумала, что старик сейчас, скрючившись, смотрит, точно смотрит на неё в щель. С неохотой оторвалась от нагретых мокрых брёвен и побрела за сарай. Парнишка-охранник стоял к ней спиной, что-то старательно затапывал сапогом.

Гнилая доска в заборе болталась на ржавом гвозде. Саша пролезла в щель. Доску приладила обратно, туго перевязала платок на голове — и пошла.

Несколько раз попадались низины, где шуршащий дождь повисал серой сплошной пеленой. Несколько раз пробиралась сквозь густые молодые ельники, где её обдавало мелким ледяным душем. Шерстяная шаль на голове потемнела от воды и была насквозь проколота твёрдыми еловыми иглами. Подол пальто волочился по земле — хоть выжимай. На туфли налипли ярко-оранжевые крошки раздавленных рыжиков — так много их было в эту осень.

Её колотило от холода. И вдруг сразу наткнулась на жердяную изгородь, услышала лай

собаки... Она кулём перевалилась через жерди, промесила гряды с увядшей картофельной ботвой. Села у прокопчённой баньки — и застыла не шевелясь: не то бы десяток струек сорвались и стремительно побежали по груди и спине.

Деревенские бабы сидят под крышами в сухом тепле, возятся у печей. А она вот сидит в мокрых лопухах, вытянув устало ноги — толстая, в одежде, разбухшей от воды, перемазанной в глине.

— Сашенька, — разомкнув губы, хрипло сказала она. Кашлянув, повторила: — Сашенька-а...

В восемь лет у Саши нашли ревматизм и отправили из туманного Петербурга на юг, в богатое село к бездетной тётке. Тёткин дом. В комнатах по крашеным полам бегал целый выводок крохотных злющих собачек. Они, разевая бледно-розовые игрушечные ротки, безголосо тявкали и шипели на Сашу.

В гостиной всегда кипел вёдерный самовар. Тётка, поджимая узкие крашеные губы, наливала Саше в гранёный стакан (сама пила из тонкой чашки). Подперев узкий подбородок, внимательно смотрела. Саша, торопясь, глотала — несладкий (ей «забывали» класть сахар), очень горячий — после этого болел обожжённый язык.

Кончив, благодарила, порывалась встать.

Тётка её останавливала, наливала ещё, потом ещё. И Саша покорно глотала, хотя желудок её был полон горячей водой.

Своё возвращение домой Саша помнит так. Тесно заставленная мебелью и зеркалами квартира в тёплых жёлтых обоях. В бронзовых люстрах множество ламп — они отражаются в зеркалах. Оттого кажется, что вся гостиная, как корабль, плывёт в колеблющихся огоньках. Всюду напольные тусклые вазы в рост человека. На полах — ковры тёмных благородных тонов.

Из соседней комнаты доносится: «До-ре-ми, до-ре-ми». Это младшая сестра Сонечка разучивает гаммы. Саша кажется себе, по сравнению с сестрёнкой, неуклюжей и некрасивой. Ходит Саша в сером глухом платье, которое туго обтягивает её большую низкую грудь. Она стесняется и всегда прижимает к груди руки. В гимназии над ней смеются.

Мать — рослая, цыганистая, в длинных серьгах — полулежит в кресле. Она с любопытством слушает, как Саша читает вслух. Шевельнув пальцами — на них блистают перстни по несколько штук на каждом пальце — хохочет: «Ах, но у тебя уморительное произношение!»

Она говорит Саше:

— Ты — дурнушка. Но у тебя чудо как хороши волосы. Цвет, густота и кудрявость — как с

картин Тициана. Это — редкость... Но, милая, пора тебе подыскивать партию, — она задумывается и забывает о Саше.

Отец однажды приводит обедать сослуживца Миронова: розоволицего, нежного и тонкого станом, как девушка. Миронов почтительно, мягко касается усами стиснутых Сашиных пальцев. И уходит, не оглядываясь и разговаривая с отцом, в его кабинет.

Вечером Саша пристально осматривает себя с разных расстояний в зеркало, взобравшись на стул и приподняв выше юбку. Потом ложится на диван и плачет. Она толста и дурна, толще и дурнее всех девушек на свете.

...Потом всё пошло кувырком. Мать ломала руки и говорила, что они стали нищими. Что их загородный дом с чудесным садом разграблен и сожжён. Но в самой городской квартире было ещё тихо. Так же тяжело висели портьеры, в зеркалах отражались огоньки. По комнатам неслышно ступала красивая равнодушная горничная.

Однажды вечером отец попрощался с семьёй. Поцеловал в густые рыжие волосы Сашу, подержал на руках заплаканную Сонечку. Со злобной страстью целовал в губы жену. Больше его Саша никогда не видела.

Мать уехала с другом семьи, актёром,

прихватив драгоценности и перецеловав истерично дочерей. За ними вечером должны были прислать человека. Но выезжать уже стало опасно.

Сонечку взяла к себе няня, а за Сашей пришёл Миронов. Она знала, что будь Сонечка года на два старше (ей было двенадцать), он предпочёл бы, безусловно, её.

На рассвете он крепко спал, красивый и чужой человек, а Саша, отодвинувшись от него, с тоской смотрела в начинавшее синеть окно: «Что дальше?»

Остатки боевого отряда, с примкнувшими крепкими местными мужиками, расположились в глухой тайге, в наспех сколоченных временках. Да ещё стояла в центре охотничья изба: щелястая, продуваемая, продымлённая.

Каждый вечер небольшие группы отправлялись в деревни — сначала близлежащие, потом забирались дальше, по радиусу. Возвращались под утро весёлые, злые, привозили провизию, тёплую одежду, оружие.

Миронов, топая подшитыми белыми валенками, заходил с улицы, ругался: «С-скоты, сена не могли раздобыть между делом».

По ночам Миронов пил водку с офицером Землянкой.

— Слышите, Землянка... (Саша знала, что в это время красивые глаза его хмельно и страшно

суживаются и светлеют). Они выгнали из особняка в Лебяжьем маму и Лидочку: ангелов-хранителей, удивительных, благородных тургеневских женщин. Выгнали в сырые подвалы: нежных, хрупких, милых. А в особняк вселилась хамка с обвислым брюхом... чтобы на маминой постели плодить уродов. С-сволочи, м-м! — мычал от ненависти. — Бить их всех надо было, бить — и держать в клетках, чтобы не перебесились. А первых взбесившихся собак стрелять, пока они не заразили остальных.

Землянка, положив сизую обритую голову на дощатый стол, крепко спал, дыша водкой и луком.

— Фу, скотина, нажрался, — Миронов смотрел на него изумлённо, пошатываясь, шёл к Сашиной занавеске. Вдруг взмахивал руками и ничком падал на нары.

Однажды, когда Саша была одна, кто-то поскрёбся в дверь. Саша, больная, расплывшаяся (она была беременна на восьмом месяце и начинала болеть цингой), вышла из своего угла.

У порога топтался невообразимо жалкий мужичонка в бабьей кофте, в полосатых штанах, крест-накрест повязанный шалью. Он захихикал дурашливо и полез под кофту.

— А вот туточки, — припевал он, — а вот ту-уточки...

Саше пришло в голову, что это сумасшедший. Вошёл Миронов, не глядя на жену, приказал:

— Уйдите к себе, вас это не касается.

Саша, прильнув к занавеске, с любопытством наблюдала за странным гостем. Мужичонка, напевая и подёргиваясь, всё шарил за кофтой. Наконец, извлёк захватанный, густо исписанный клочок бумаги. Миронов закурил; брезгливо отставляя мизинец, развернул бумажку.

— Ну, объясняй, олух царя небесного, чего нацарапал. Да не придвигайся близко — чёрт-те чем воняешь. Хотя бы в снегу вывалился. Дурак.

Мужичонка, хихикая, подобострастно тыкал в бумажку грязным пальцем:

— Значится, всё как приказывали. Первый — ясней ясного, Мазухин Ванюша. На тяпке с войны прискакал и шибко нехорошо себя повёл, господин офицер. И какое, спрашивается, ему дело, скоко у тебя овец, скоко кролей. Восставший город, мол, кормить надо. А нам исть не надо? Испортился парень вконец, — мужичонка, искренно сокрушаясь, почмокал губами. — Второй: бригадир наш, Петр Яковлевич. По причине муцинской болезни призван в ряды ополченцев не был, хоть имел к тому сильную охоту. Земля под ногами горит — так, господин офицер, вас и ваш прежний режим ненавидит.

А вот туточки, под третьей цифрой в

кружочке я Анютку отметил, дочку Филимона Григорьева. Сам Филимонушка воюет нынче протии вас, господин офицер, на Амге. И Анютка, вишь, туда же, шустрит. Девка худая, безродная, всю жизнь коров за сиськи дёргала. А тут на тебе: революция, — мужичонка чисто и бойко выговорил слово, утёр губы рукавом. — И бегают наша Анютка по селу, парней-девок мутит, на непослушанье законно избранной власти подбивает...

Вечером Миронов стал собираться. Саша со страхом смотрела из-за занавески, как он сует ноги в тёплые валенки, топает ими о пол. Потом не спеша кутает нежную шею вязаным шарфом, снимает с гвоздя светлый овчинный тулупчик и белую папаху.

Землянка, по какой-то причине трезвый с утра, злой и бледный, разбирал и смазывал на столе трофейное оружие.

— Алё, Землянка. Слыхали новость? Некто иной, как знаменитый Григорьев, обитал в Ключах. А дочка и ныне там. Каково?

— Ну, так что? Фейерверк, что ли, задумал?

Миронов засмеялся:

— И это не лишнее. Но мы кое-что послаще придумаем. А?

— Всю деревню, что ли? — Землянка смотрел уже с интересом.

— И это не лишнее, — весело откликнулся из сеней Миронов. — Ко-олька! До сих пор не оседлал, скотина.

Саша на следующее утро плохо себя чувствовала. Лежала, тихонько шевелясь от боли, убаюкивала себя: «А-а-а... А-а-а». Забылась — или заснула. Очнулась, когда мартовское солнце наполнило и высветило избушку. На заросших грязью половицах лежали столбцы света. Над головой Саши дрожал на брёвнах весёлый зайчик от колодезной воды в ковшике.

На краю лавки у печи сидела светлая девочка в одном платьишке, с шерстяным платком на плечах, в больших валенках на тонких ножках.

Девочка сильно замёрзла, под носиком подсохла кровь. Искусанные губы вздрагивали. Тонкие ладошки она прикладывала то тут, то там к остывающей печи.

Вся она была съёженная, остренькая, с измученным личиком, со вздыбленными волосами, заплетёнными в тощие, загнутые кверху косицы. Несколько раз девочка с жалостью взглядывала в сторону лежащей Саши.

— Кыс, кыс, — позвала она худую старую кошку, насторожённо смотрящую с печи на незнакомого тихого человека, от которого не пахло табаком и который не стучал тяжёлыми

сапогами. — Кыска, поди же сюда!

Девочка откинулась с зажмуренным личиком к печи.

Саша снова забылась. Очнулась ночью. Было темно, тихо и так страшно, что ослепительный солнечный день и светленькая жмурящаяся девочка казались увиденными во сне. Боль становилась противнее, тяжелее, передвинулась книзу. Саша подумала со страхом: «Начинается...»

Хотелось пить. Ковш у изголовья был сух — наверно, голодная кошка вылакала воду. А пожилой отрядный костровой дядька Иван сегодня был взят в налёт, и некому было налить воды в ковш и вынести таз с помоями.

Теперь ей казалось, что выпей она кружку холодной, натаянной из снега воды — и тошнота исчезнет, и боль перестанет выворачивать... В пристройке избушки стоит чан с водой. Вода замёрзла, но она отколупнёт топориком кусочек льда и будет сосать.

Саша, держась за стены, направилась к сеним. И не дошла, услышав мужские голоса, отчётливое тяжелое дыхание, будто там занимались трудной физической работой.

И ещё одно дыхание пробивалось — лёгкое, частое. Этот последний дышал всё короче, и раздался протяжный девичий крик, полный муки:

«Ой, матушки! Не могу!»

Саша узнала голос Миронова, прерывающийся, вздрагивающий:

— Что, она кляп вытолкнула? Ч-чёрт, ноги ей держи... Где тряпка, скоты?!

Тонкий голос захлебнулся, умолк. Снова были слышны возня и мужское дыхание. Саша, слабея, начиная понимать, телом толкнулась в дверь...

В углу пристройки под морожеными свиными и бараными сине-розовыми тушами, прикрученными проволокой к перекладине, в морозном пару, на расстеленной на столе рогоже — запрокинутая голова с разлетевшимися лёгкими волосами, вывернутые локтями, скрученные проволокой голенькие руки, замёрзшие крупные капли алой крови на полу — и несколько тепло одетых, расстёгнутых мужчин, склонившихся над привязанным к столу, безжалостно вытянутом на рогоже маленьким белым телом.

Саша, с ввалившимися глазами, разинув рот, страшно закричала...

— В жизни, Александра Васильевна, у каждого человека с роду бывает свой смысл, и каждый оттого получается правым. Вот и выходит, что маленьких правд на свете — тыщи. А общей, большой, чтобы для всех была — нету.

У вас, к примеру сказать, свой смысл, бабий:

жалеть и через то мученья принимать. Девчонку-то Надьку пожалели — а и её не спасли, и ребёночка скинули. Опять же, с другой стороны, если баба жалеть перестанет — это что получится? Это получится, что род людской прекратится. Так что уж бог с вами... Жалейте себе на здоровье.

— Как же так? — шепчет Саша. Она лежит после бреда, влажная, под бараньим тулупом. Смотрит со страданьем на старика-кострового, который кормит её из кастрюльки супом. — Значит, и *он* прав? Девочку?... — она отворачивается и плачет.

— А как же, — серьёзно подтверждает старик. — Господин Миронов очень даже правы. Сами посудите: бунтовщики всё до нитки у них отняли, с мамашей и сестрицею разлучили. При их характере и нынешнем положении как они сердиться не будут? Очень даже сердиться будут, и мучить да убивать будут — чтоб сердце отвести.

Саша смотрит воспалёнными глазами, мучительно соображает.

— А новая власть?... Права она?

— И ещё как права-то, — подхватывает охотно старик. — Вы, Александра Васильевна, нужды народной не видали. Куда боле терпеть. Господа с жиру бесились, над народом изгилялись, не знали как ещё пыль в нос пустить. Озлились людишки, вздыбились... Пока дыму хватит,

конечно.

— Дяденька Иван, а ты? У тебя — есть смысл?

— Вот те раз, — обижается тот. — Это только животная бессмысленно живёт и удовлетворяется.

— Так зачем ты за нас? Значит, ты за нашу правду? — настаивает Саша.

— У меня, милая девка Александра Васильевна, свой смысл имеется, своя правда. Она покрепче, чем у бунтовщиков, или, наоборот, у господ будет. Она посередке, самая живучая, моя-то правдишка.

— С нами-то зачем? — чуть не плача, добивается Саша.

— А затем, что так сподручнее пока. А там поглядим: может, стёжки-дорожки и разойдутся. Это вы тут пуповиной приросли, а у меня особой привязки не имеется. Запасец имеется: не зря со смертью в обнимку ходил...

С моей-то правдой, Александра Васильевна, не пропадёшь. Кровь маленько попускают — и айда опять жирком обрастать. Мы — народ, за нас бунт поднят. Вон оно как. Ра-ано, рано ещё дядьку Ивана списывать на печку пускать шептунов...

Саша отворачивается и закрывает глаза — она устала. Старик ходит на цыпочках, моет ложку и кастрюльку. Но не уходит, а переминается у двери.

— Чего тебе, дядя Иван?

— Александра Васильевна, вы уж господам офицерам не пересказывайте... Язык проклятый стариковский, чистое помело... Когда-нить пропаду через это... Да и куда сбегу я?

— Господи, ещё выдумал... Иди себе, иди.

Странная дружба связывает кострового и Сашу. Неделю назад он обмыл крошечного покойника; ухватывая толстыми негнущимися пальцами иглу, сшил из своей чистой бязевой рубахи саван. Сколотил сосновый гробик и даже украсил его полоской грязного кружевца.

Однажды Саша встала и, хватаясь за стены, вышла на крыльцо. Было тихо, пасмурно и тепло. Всюду таял снег, с крыши капало, и пахло весенним оживающим лесом. Саша стояла, прижавшись щекой к чёрному мокрому столбику, и улыбалась, стыдясь.

Ей казалось, что даже улыбаться она не имеет теперь права.

А через день убили Миронова. В последнее время он передал полномочия Землянке и начал пить ночами. Специально для него доставляли из деревни самогон.

Саша помнила, как однажды в избушку, стуча волочащейся шашкой, вошёл возбуждённый Землянка и заговорил с порога, размахивая руками, радуясь:

— Миронов, чертовская удача, ты вообразить не можешь. Мы насчитали их числом двадцать, погнали за Малые сопки. Они, деревня, сдуру угодили в трясины, и — как котята! — он, расхаживая по избушке, хлопал себя по ляжкам.

Миронов хмурился, пальцем катал по столу хлебный шарик. Потом поднял глаза и спросил серьезно:

— Землянка. Вы что? Совсем — дурак?

...Его внесли в избушку в овчинном тулупчике, с уложенной на груди папайой. Почему-то нашли нужным оставить Сашу наедине с ним. Саша тихо подошла, заглянула в запрокинутое белое мёртвое лицо мужа. Поискала и нашла на виске маленькую пулевую дырочку с вывернутой по краям кожей. «Только-то, — поразились она. — За всё, что он сделал — вот эта чистая, умытая от крови дырочка? И всё?»

Землянка не стал церемониться и в ту же ночь медведем полез за занавеску.

— Ну-с, Александра Васильевна, — неестественно оживлённо подмигивая и потирая руки, заговорил он. — Так сказать, мёртвым — память, живое — живым.

Саша с таким отчаянием взглянула на него, что Землянке стало не по себе. Он пробормотал мягко, смущённо:

— Ну, голубушка. Упрямитесь глупо —

сегодня живы, завтра...

Потом убили Землянку. Отряд таял на глазах.

— Дяденька Иван, — всхлипывала Саша. — Ты-то почему не уходишь, обещал ведь... Взял бы меня с собой?

Тот уже не разговаривал с Сашей, как прежде.

— Не по пути мне с бунтовщиками, выходит, — отрезал он сурово. — Всё одно, обируют мужика в деревне. А тебе, девка, и вовсе про такое думать не следует. Из лесу не выйдешь — сцапают. Как жену офицера, главную вражину, — в расход. А коли наши поймают — надсмеются. Как над Анюткой.

Саша побледнела и отошла. Но она следила за стариком и видела, что он ворует сухари и вяленое мясо из скудных отрядных запасов. Она твёрдо решила не спускать с него глаз.

Сбежать старик не успел. Однажды ночью их окружили, почти без стрельбы обезоружили и повели под конвоем из леса. Когда гнали под проливным дождём, старик оказался рядом с Сашей. Шептал, сдувая с её рыжих волос капельки:

— Ты, девка, давай примечай кругом, поглядывай. Бог даст, не пропадём. Не пропадём, чует сердце.

В сарае, куда их загнали, он всё ходил, задирая голову, и осматривал стены, крышу,

бережно ощупывал двери. Снова подсел к Саше, похихатывая и подталкивая её локтём, заговорил ласково:

— А, Шурка, чего нос повесила? Говорил ведь: присматривай-примечай. Слыхала, чего конвоиры меж собой болтали? В Подкаменное, мол, люди требуются — мужички тамошние волнуются, противятся поборам. Бог им в помощь. Не иначе, туда поскакали... Подкаменное-то отсюда не близко. Раньше ночи не вернутся.

А теперь глянь, Сашура, — сарай-то вроде конюшни срублен. Двери с той стороны и с этой — считай, открытые мы. Слева старший караулит, усатый. Другой, что матюкался всё, на крышу влез, чердак стережёт. Ей-ей, чудные, — добродушно подивился он. — Что, по-ихнему, человек — мышь летучая, чтобы через крышу сигать? Да и не услышит он: дождь зарядил. Шурка, ты дальше слушай... Справа дверь, так туда парнишку стеречь поставили. Парнишку, говорю, несмышлёного, в щёлку видать было.

Старик совсем навалился на Сашу и жарко и мокро зашептал в ухо:

— А само главное, девка, сельцо тут есть в вёрстах восьми. Я дорогу объясню, как напрямки выйти. Там Васька Пантелеев с людьми сидит — коли не вытрясли, конечно. Да не, не вытрясут: проверенный мужик, нашенский...

Ты не отворачивайся, не уроси, девка. Коли дело худо обернешь, так, думаешь... Помалкивать буду?... Как самых главных господ офицеров ублажала в постельке? Как на разбои да смертоубийства отрядных мужиков науськивала, подзуживала?

— Врёшь! — вскинулась Саша. — Ты зачем неправду говоришь, дядя Иван?!

— А что правда, что неправда, кто разберёт, — скоморошьей скороговоркой сказал старик. — Моё дело маленькое, стариковское — людей кашей кормил... Не-е, девка, мы молчать не будем, — это дядька Иван пообещал спокойно, уверенно.

Саша всё сидела под дождём у баньки. Медленно повернула голову в ту сторону, откуда — ей казалось — за ней давно наблюдают. Из мокрых смородиновых кустов на неё таращила глаза девочка лет семи, в больших для ее ножонок сапогах и пиджачке с угловатыми плечами.

— Тётенька, — позвала она шёпотом, вытягивая, как гусёнок, шейку. — Тетенька, ты чо, пьяная?

...Больше всего Саша боялась, что мать девочки, хозяйка большого дома, не поверит тому, как Саша медленно и вымученно рассказывает, что она сельская учительница, что родных у неё

поблизости нету, что дом сожгли, а её саму избили и выгнали.

Но хозяйка, привыкнув, по-видимому, в последнее время к разным страстям, по-бабьи горевала вместе с Сашей, подпершись сложенной ковшиком ладонью.

Сашины пальто и юбка, очищенные щепочкой от глины, сушились на веревке перед жарко топленной печью. А Саша в одной рубашке и хозяйкиных белых шерстяных носках (хозяйке приглянулись чёрные прозрачные чулки у Саши, и она предложила обмен) сидела за столом и ела горячий, жирный, удивительно вкусный суп с капустой. Девочка-гусёнок серьезно следила за каждым её движением с печи, как с наблюдательной вышки.

Хозяйка подливала Саше и певуче рассказывала, что в деревне уже месяц новая власть, и «они» ничего, не очень озоруют. Взяли с её двора только двух кур и даже дали за них деньги — «хотя, милая, чо нынче деньги-то значат...»

Рассказывала, что муж её пил и дрался здорово, а потом ушёл к беглому уголовнику Ваське Пантелееву, где его и зарезали свои дружки.

Живут втроём: она, дочка (девочка-гусёнок мгновенно исчезла в темноте на полатах, мелькнув чёрненькими косичками) и ещё свёкор. Был племянник от брата, сирота Васятка, но уже

полгода живет в Балычках при самом комиссаре.

Свёкор — ничего ещё, бойкий старичок, бегаёт. Вот и сейчас запряг Воронка и поехал с утра в Балычки, повёз Васятке пару чистого белья, пласт сала и полтора пуда картошки.

— Ты-то, горемычная, куда путь думаешь держать?

— В Россию, к тётке, — подумав, сказала Саша. И назвала уральский город, куда няня увезла Сонечку.

«Ну и всё, — думала она, чувствуя огромное облегчение. — Ну и слава богу. Пропади они пропадом: старая власть, новая... Развязала! Соню разыщу. Заживём!»

— И-и, далеконочко, поездом нужно ехать. Ну так, милая, свёкор-то тебя проводит до железки. Не за так, конечно, не задаром, — хозяйка пощупала кофту на верёвке, задумалась. — Кофточка-то нарядная. Может, и сговоримся, так свёкор подбросит.

Свёкор, приехавший к полудню, оказался подвижным смешливым старичком.

— Иде пассажирка? — весело закричал он. — Ну, девка толстая, корпулентная. Если Воронок застрянет, пузом выпихнет, так, что ли?... А ты, Марина, вперёд корми старика, потом про дорогу толкуй.

Старичок помыл руки, вытер деревянную ложку подолом рубахи. Ел он тоже аккуратно и вкусно.

— У них, Марина, шум большой в Балычках вышел. Вчера карателей поймали да не довели до свету, в лесу в сарае заперли. И до утра одна вражина-таки сбежала. За подмогой к своим, рассказывают.

— Айда ты, — не поверила Марина. — Из-под замка-то. Караулили ведь.

— Через караульщика и сбежала. Парень глупой, пожалел бабу...

— Ба-аба?! — охнула Марина и посыпала из передника на пол мокрые ложки.

— Та баба — не баба, а чистый срам. Самая главная вражина. Сама из барынек питерских, рассказывают, наших зубами грызла. У всего отряда — это у трёх дюжин мужиков — подстилкой была.

— Вот гадина, вот срамница, — подхватила Марина. — Живьём таких жечь.

— Над караульщиком суд решается, трибунал делать будут. Баба-то важная птица, не иначе, всё разнюхала да к своим рванула.

Саша, сидевшая как каменная, при этих словах надломлено качнулась, застонала.

— Чо, милая? — обернулась хозяйка к ней.

Саша безумно с силой давила лбом угол печки, стонала всё протяжнее. «Повиниться...

Жалко парня... А тебя кто жалел, кто, ну? Один ребёнок пожалел, дурачок... На свою детскую голову... Господи!»

И Саша завывала, зная, что делает непоправимое, и, страшась этого, завывала ещё страшнее.

— Пантелеич! — завизжала хозяйка, бестолково мечась с выпученными глазами вокруг Саши. — Да чо с ней такое, господи, припадок, ли чо?!

— Дедушка, — хрипло сказала Саша, переставая выть и подняв лохматую грязную голову. — Вези меня в Балычки. Я ведь это сбежала.

С ужасом вскрикнула девочка-гусёнок и исчезла вмиг за трубой, точно спасаясь от чудовища. Марина и старичок переглянулись, засуетились, задёргались, закричали.

— С утра-то электричество на час давали, нет? Успела зарядить? — свёкор тыкал трясущимся пальцем в мобильник, набирал номер. — Не ловит, паразит. Разве на чердак влезть — возьмёт?!

Через десять минут Пантелеич, дёргая вожжи и поминутно оглядываясь, бешено гнал телегу к Балычкам. В телеге с заведёнными назад, связанными полотенцем руками сидела Саша, подпрыгивала на деревянном, без соломы, дне.

«Всё расскажу. Про Анютку несчастную, про

ребёночка. Про дядьку Ивана. Всё расскажу. Люди же! Неужели не пожалеют... А?!»

НОЧЬ В ОГОРОДНОМ МАССИВЕ «РОСИНКА»

Часть 1

... Молодожены укладывались спать. «Милый, отвернись», — проворковала жена. Муж не только не отвернулся, но, как выразился бы соседский внук, включил ночное видение.

Тогда жена, стесняющаяся собственного мужа, повернулась к нему спиной, к экрану — передом. Скинула платье, лифчик, трусики и долго так и эдак себя оглаживала, красовалась: все — превсё до черной шкурки показала необъятной нашей стране, миллионам чужих мужиков от Москвы до самых до окраин. Срамница, мужа она стесняется...

БабТася не уважала американские фильмы. Да и наши пошли не лучше. То ли дело бразильские сериалы. Женщины там стыдливые, объятия целомудренные, поцелуи без этого мерзкого хлюпанья, всасыванья и чавканья на всю квартиру. БабТася в сердцах выключила телевизор. В огород было пора.

Взяла из холодильника приготовленные пакет молока, половинку батона, круг чесночной колбасы. Учуяв колбасу, в ногах закрутился, затолкался лобиком, запищал крошечный котенок Ленин. Назван он был так не из глумления над вождем, упаси Бог. Его весной принесла соседка, пятидесятичетырехлетняя Лена. Так и пошло. Гости, приглашаемые бабТасей на пироги, спрашивали: «Чей котенок?» — «Да Ленин». «Куда это Ленин котенок запропастился?»

Покормила Ленина. Уложила в объемную сумку тяжелый старинный зонт, теплую кофту. В её боковом внутреннем кармане лежало пенсионное удостоверение в полиэтилене, прошитом по краям суровой ниткой. В прошлом году у бабТаси во дворе вырвали сумку с килограммом ячневой крупы и тридцатью рублями денег. Она не растерялась, крикнула вдогонку: «Документы-то оставь!» Вор хоть скотина, а человеком оказался — на ходу выбросил пакетик с паспортом и «пенсионкой».

Куда бы она без пенсионки?! Это в Америке, бабТася по телевизору видела, пенсионерки делали косметические подтяжки на коленках, чтобы носить мини-юбки и соблазнять американских старичков. А сами, срамота, ровесницы бабТасе.

А то еще: натягивали на куриные ножки обрезанные штаны вроде панталон и отправлялись

в кризис. У нас государство определило бабТасе свой кризис: ездить за полцены с одного конца города на другой в лавку, торгующую яйцами-бой, уцененным постным маслом и крупой.

Отношения бабТаси с государством издавна сложились непростые. Обе конфликтующие стороны имели прямо противоположные задачи. Государству экономически и политически была не выгодна долгожительница бабТася с ее пенсией, льготами и правами, которые она качала на ноябрьских митингах и тем самым лила воду на мельницу Зюганова с коммунистами.

В его, государства, кровных интересах было подтолкнуть, ускорить естественный ход событий в затянувшемся земном существовании бабТаси. Чему оно всячески деликатно способствовало, повышая при её мизерной пенсии цены на лекарства, квартиру, молоко и хлеб.

А бабТасе назло государству (на кося, выкуси!) упрямо, страстно, эгоистично хотелось жить. Что, еще раз подчеркиваю, грубо противоречило и даже подрывало интересы последнего.

Надо бы сходить перед не ближней дорогой в туалет. Но у бабТаси в тенистом углу огорода в ржавой бочке томится смесь из опила, сорняков и бабТасиных отходов жизнедеятельности. Никакой

химии, никаких нитратов — и совершенно бесплатно. Как можно было расточительно спускать в городскую канализацию главную составляющую самодельного удобрения? Не зря корень у него одинаковый со словом «добро». Его от доброй хозяйки с нетерпением дожидались клубничка, помидорки, огурчики: самые первые, самые крупные да сладкие — на диво и зависть всем соседям в огородном массиве «Росинка».

И пусть в автобусе, бывало, бабТася переминается со страдальческим лицом, с закушенной губой — ничего, перетерпит, не барыня. Не лопнет. Зато все до последней драгоценной капельки довезет и пополнит заветную бочку...

У двери ждала самодельная кривоватая палка. На нее она, опираясь и тяжело охая, вскарабкивалась в автобус, непременно с заднего хода. По опыту знала: все передние места плотно, как бутылочными пробками, забиты ее ровесницами, такой же равнодушной и жестокой огородной старушкой. До конечной остановки «Росинка» не присядешь. А в хвосте автобуса перед стонущей и обморочно задыхающейся бабТасей молодежь вскакивала и уступала место.

Хотя довелось ей видеть молодуху... Не приведи господи. Расселась на месте для

инвалидов, ноги в полосатых штанах расставила — надо бы шире да некуда. Майка линиялая короткая, открывает пуп с серьгой. А если кто вот так походя за серьгу дернет?! У бабТаси при этой мысли у самой в области пупка заныло. Голова у девки была обритая в серединке, по краям остатки волос торчали выщипанными перышками. В ушах блямбочки с проводами, слушает свою дикуую музыку.

И сидела, значит, эта девка в переполненном автобусе, ухом не вела. Первой не выдержала маленькая бабулька, болтающаяся на поручне в непосредственной близости. Про таких говорят: сзади пионерка — спереди пенсионерка. В белой шляпе с опущенными, будто вымоченными краями, эдакая бабочка-капустница. В обезьяньей ручонке корзинка, на дне её зоркий бабТасин глаз углядел переносную телефонную трубку. Огородницы тоже. Намажутся давленной клубникой, облепятся огуречными кружочками и брякнутся загорать среди лопухов и лебеды в человеческий рост. БабТася таких не уважала.

— Девушка с веером — с плеером, не стыдно? — запищала бабулька. — Обратите внимание, сколько пожилых людей вокруг стоит. Вы не ошиблись, заняв это место?

Девка равнодушно смотрела за окно, притопывала в такт неслышимой музыке тяжелыми

башмаками. Через минуту орало пол-автобуса, включая кондукторшу. Девка балдела, с ухмылкой вода взглядом по перекошенным, румяным от злости морщинистым лицам.

— Да она наркоманка, разве не видно? Глаза стеклянные.

— Оттаскать бы лахудру за космы, — это бабТася подала голос, хотя обычно в подобные скандалы не вмешивалась — не портила нервы.

— Не связывайтесь вы с ней. Подкараулит в безлюдном месте... Их и не сядят нынче.

На своей остановке, одержав полную и безоговорочную победу, морально размазав по стенке пенсионерское братство, девка не спеша вывалилась, покачивая толстыми полосатыми ягодицами. В автобусе пахло валокордином. Бабочку-капустницу на конечной остановке ждала «неотложка»: сгодился-таки ее телефон. Расходясь по своим домикам — скворечникам, пассажирки еще долго галдели. И даже невозмутимая бабТася испытывала некоторое теснение в груди и забыла, что надо ей поспешать к заветной бочке.

Вышла на свой ухоженный, как игрушечка, участок.

— Не соптели тут без меня, матушки? — приговаривала, закатывая пленку на парнике. У нее была привычка разговаривать со всем, что ее

окружало, включая неодушевленные предметы.

Посмотрев очередную серию, благодарила телевизор. Вставая, распаренная, из ванны, даже слегка кланялась: «Спасибо, милая ваннушка». Экая красота: собственная маленькая банька на дому. Открывая ключом дверь квартиры или огородного домика, беспокоилась: «Как тут без меня дневали-ночевали? Ребятки мои как поживают?» Ребятками бабТася называла цветы. Их она разводила и на огороде и в городской квартире великое множество.

Очень она любила разные растения. Взять человека, птицу, животное, пусть даже самое бесшумное и чистоплотное — кошку, а все равно сколько от них шума, беспокойства, грязи. Особенно от людей. Как говорил о них бабТасин сверстник, покойный артист Райкин: «Вдыхают кислород, а выдохнуть норовят всякую гадость». Цветочки и зелень «выдыхали» свежесть и аромат, жили своей жизнью тихо, кротко, радовали глаз и душу. И баба Тася вытягивала морщинистые губы и чмокала граммофончики кабачков, и первый тугой розовый помидорчик, и пряную веточку петрушки, и янтарное яблочко «уральский налив».

— Тася! — за смородинными кустами маячила голова соседки. — Сегодня опять председательница заходила. Если не отдашь